

18+

СИЛУЭТ

Рустам М.



ЦВЕТOK

В МИРЕ ПЕПЛА

Рустам Магомедов

Силуэт. Цветок в мире пепла

«Издательские решения»

Магомедов Р.

Силуэт. Цветок в мире пепла / Р. Магомедов — «Издательские решения»,

В мире, где всё мертво, остались только обещания. И тени, которые не помнят, чьи они. И люди, которые идут сквозь пепел, чтобы найти то, чего уже не существует. Марк — один из них. Он идёт не потому, что верит. Он идёт потому, что обещал. А обещание — это единственное, что не умерло вместе с миром. Впереди — пустота. Позади — ничего. Внутри — слово, которого уже никто не услышит. «Найди цветок».

© Магомедов Р.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава 1	8
Глава 2	14
Глава 3	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Силуэт Цветок в мире пепла

Рустам Магомедов

© Рустам Магомедов, 2026

ISBN 978-5-0070-5292-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

«После всего, что случилось, я понял: надежда — это не свеча в окне. Это умение идти, когда даже тьма от тебя отвернулась.» — Кормак Маккарти

Старый диван скрипнул, когда я поднялся.

Подошёл к окну, провёл ладонью по стеклу — стирая многолетнюю пыль. За мутной поверхностью выл ветер, швырял в стекло колючие снежинки. Сквозь дыры в свинцовых облаках пробивались редкие лучи солнца — бледные, больные, словно сама звезда умерла вместе с землёй. Они освещали улицу призрачным светом, от которого становилось ещё тоскливее.

Я развёл костёр из того, что нашлось в комнате. Обивка дивана, куски сырого дерева от сломанного стола.

Пламя трещало неохотно, будто само сопротивлялось этому мёртвому миру. Едкий дым наполнил помещение, забился в лёгкие, вызвал кашель — сухой, рваный.

Холод продолжал просачиваться сквозь одежду, невзирая на мои попытки согреться.

Немного отогревшись, я двинулся вглубь квартиры.

Коридор казался бесконечным тоннелем, ведущим в никуда.

Кухня встретила меня тишиной. Такой, что, казалось, можно было услышать, как оседает пыль.

Методично, словно автомат, я начал обыскивать шкафчики. Открывал, закрывал, снова открывал — движения, отточенные сотнями таких же обысков. Надежда найти что-то полезное давно умерла, но привычка заставляла продолжать. Руки работали, пока голова витала где-то далеко.

Пусто. Везде пусто.

Следующая дверь в коридоре поддалась с трудом — петли заржавели, дерево разбухло от сырости. За ней обнаружилась спальня, погружённая во мрак. Тяжёлые бархатные шторы, когда-то чёрные, а теперь покрытые серым налётом пыли, поглощали даже те жалкие крохи света, что пробивались с улицы. Воздух был густым — от запаха пыли и сырости.

У кровати, укрытой колючим шерстяным одеялом, стояла покосившаяся тумбочка. Верхний ящик открылся с протяжным скрипом. Внутри — несколько книг с пожелтевшими, скрутившимися от времени страницами. И фотография — выцветшая, с загнутыми краями.

Я отдернул шторы, пропуская внутрь серый, больной свет. Поднёс снимок к глазам.

Человек в военной форме. Незнакомец. Чужое лицо, чужая жизнь. Я провёл пальцем по фотографии, стирая пыль с его щеки. Кем он был? Выжил? Или стал одной из бесчисленных жертв — как те, кто лежит под пеплом?

Я положил фотографию обратно. Оглядел комнату.

Одинокая лампа на полу. Ковёр с вытертым ворсом. На стене — картина с размытым пейзажем, будто художник предвидел, как будет выглядеть мир после конца.

В дальнем конце коридора ждала ванная.

Её дверь, покрытая паутиной, когда я потянул за ручку, издала жуткий, протяжный скрежет. Луч света из разбитого окна высветил интерьер.

Кафельный пол, некогда небесно-голубой, пожелтел. Трещины змеились по его поверхности, и из них, словно чёрная кровь, вытекали насекомые. Они разбегались от моих шагов с мерзким шуршанием, исчезали в тёмных углах, как дурные воспоминания.

Разбитое зеркало на стене превратило моё отражение в жуткий пазл. В каждом осколке — часть моего лица, но вместе они складывались в портрет человека, которого я больше не узнавал.

Я опустил шарф. Впервые за долгое время позволил себе взглянуть на то, во что превратился.

Лицо — измождённое, испещрённое морщинами. Глаза напоминали потухшие угли. Волосы, спрятанные под шапкой и капюшоном, поседели — или просто покрылись пеплом.

Механически проверил кран. Конечно, сухо. Вода не шла уже много лет.

В углу ванной, скрюченное и иссохшее, лежало тело. Судя по остаткам одежды — женщина. Рядом валялся пистолет, покрытый ржавчиной, но всё ещё узнаваемый.

История её последних минут была предельно ясна.

Я поднял оружие. Осмотрел магазин. Один патрон остался неиспользованным. Несмотря на ржавчину, пистолет мог пригодиться — в этом мире любое оружие на вес золота. Я спрятал его в карман куртки.

Последний раз оглянулся на женщину в ванной.

Тело трогать не стал. Пусть покоится здесь. Это место стало её могилой.

Странно, но она показалась мне менее одинокой, чем все мы, выжившие. Она хотя бы сделала выбор.

Глава 1

Трубу прорвало в десяти метрах впереди. Не фонтан — так, грязная течь под давлением, но коричневая жижа уже хлестала на бетон, и пар поднимался над лужей. Я рванул к вентилю, сапоги зашлёпали по воде.

Тьма в служебном тоннеле была неполной. Тусклая аварийная лампа через три метра отбрасывала на мокрые стены дрожащее жёлтое пятно. Воздух гудел. Гул был двойной: высокий — от вентиляторов, и низкий, пульсирующий — откуда-то из глубины, с машинного зала тепловой станции. Этот низкий гул никогда не прекращался.

Я вытер лицо грязным рукавом комбинезона. Ткань, пропитанная потом, маслом и этой вечной пылью, лишь размазала грязь. Пассатижи выскользнули из онемевших пальцев и с глухим стуком упали в лужу у моих ног.

Третий прорыв за неделю. Я нашёл муфту в полуметре от места течи, насадил на трубу и с усилием завернул контргайку. Металл противно взвизгнул, но сел на место. Пальцы саднило — ободрал кожу об острый край. Я сунул их в рот, сплюнул привкус ржавчины и полез за пассатижами.

Я поднялся, и спина ответила тупой, знакомой болью между лопаток. Взял пассатижи из лужи, вытер их о комби-незон. Инструмент был продолжением руки — потёртая рукоять, зазубренные губки, которые уже плохо смыкались. Всё в этом мире было таким: потрёпанным, временным, доживающим свой срок.

Потянулся к вентилю на основной магистрали. Металл был холодным и шершавым. Повернул. Где-то в глубине тоннеля что-то тяжело вздохнуло, и коричневая струя из прорванного локтя ослабла, превратившись в редкие, грязные капли. На время. До следующего раза. До следующего моего дежурства в этом каменном кишечнике, где я латал дыры в системе, которая медленно, но, верно, переваривала сама себя.

Собрал инструменты в потрёпанную сумку. Молоток, разводной ключ, обрывки проволоки, тряпки. Всё пахло ржавчиной, сыростью и безнадёгой.

Перед уходом я посмотрел на свою чёрную от грязи руку, сжал её в кулак, потом разжал. И побрёл к выходу, оставляя за спиной тихое бульканье в темноте и запах распада, который уже стал частью воздуха, которым я дышал. Частью меня.

Я шёл по коридорам, и тело работало на автомате — ноги несли, спина ныла, пальцы всё ещё помнили холод металла. Лампы мигали через одну, в воздухе висела та же сырость, тот же гул станции, пронизывающий всё насквозь. Светлана Петровна сидела за столом в своей будке — там, где всегда. Её лицо под светом настольной лампы казалось жёлтым и восковым.

Остановился у стола, не садясь. Мои мокрые штаны начали холодеть, прилипая к ногам.

— Марк, — сказала она, не глядя на меня. Её голос был плоским, без интонации. Она открыла папку, нашла мой лист. — Смена закрыта.

Она сделала отметку карандашом. Карандаш был коротким, заточенным. Потом открыла жестяную коробку. Внутри лежали стопки прямоугольных картонных талонов разного цвета. Она отсчитала три серых и один зелёный, положила их на стол передо мной.

Я сунул их в карман, развернулся и вышел, не попрощавшись.

В столовую я появился в самый пик.

Люди из разных секторов — сменщики, ремонтники, те, кто вообще без определённой работы, просто числится, — сбились в очередь у раздаточного окна. Кто-то переговаривался, кто-то просто стоял, уставившись в стену, кто-то жевал, сидя за длинными столами из некрашенных досок. Воздух стал густым, как кисель: от пара, от дыхания людей, от запаха прелого зерна, которое здесь варили каждый день.

Я встал в хвост. Передо мной — мужик в телогрейке, которого я видел утром. Он не обернулся. Сзади кто-то подошёл — я слышал шаги и тяжёлое дыхание, но тоже не посмотрел.

Очередь двигалась медленно. Пахло потом, сырой одеждой, тем особым запахом людей, которые давно не мылись и едят одно и то же годами.

— Следующий!

Я шагнул к окошку. Женщина в грязном фартуке, с лицом, стёртым до безликой маски, взяла мои талоны, не глядя. Бросила в ящик. Протянула миску.

Я взял миску, отошёл к столу, втиснулся между стариком и парнем, который жевал, уставившись в одну точку. Опустил ложку в кашу, поднёс ко рту.

Тёплая. Почти горячая. Я жевал и смотрел на стену. Там, над раздаточным окном, висели часы. Стрелки показывали без четверти шесть вечера.

Каша оказалась совершенно безвкусной. Не солёной, не сладкой — никакой. Тёплая серая масса, которую язык опознавал как «еду» только по привычке и текстуре. Комки размокали на нёбе, превращались в клейстер, и приходилось запивать водой, чтобы проглотить. Я жевал машинально — ложка за ложкой, — и ни о чём не думалось. Голова стала ватной, как эта каша.

Когда миска опустела, я посидел ещё немного, глядя, как люди вокруг жуют, глотают, переговариваются вполголоса. Потом встал и пошёл к раздаточному окну.

Женщина в грязном фартуке подняла глаза.

— Ещё? — спросила без интереса.

Я полез в карман. Пальцы нащупали бумагу — тонкую, шершавую. Талоны Кати.

Я вытащил один — серый. Положил на стойку.

— Добавки, — сказал я. — И хлеб, если есть.

Женщина взяла талон, повертела в пальцах, будто проверяла, не фальшивый. Потом кивнула куда-то вбок:

— Садись, принесу.

Я отошёл от окна, но за стол не вернулся. Взял вторую миску, ломтик хлеба — тонкий, чёрствый, с тёмными пятнами на корочке — и пошёл к выходу.

Пространство, открывшееся передо мной, никогда не предназначалось для жизни. Это был просто самый большой зал, когда-то — склад запчастей или угля. Его наскоро перегородили, провели трубы и назвали жилой зоной.

Сводчатый потолок висел низко. В щелях между плитами — чёрная плесень.

Воздух здесь стоял густой и неподвижный. Запахи смешивались в узнаваемую, тошнотворную смесь: сырость промокшего насквозь бетона, кисловатый дух старой шерсти и тряпья, и поверх всего — тяжёлый запах немытых тел. Запах шестьдесят человек, стиснутых в одном каменном мешке.

Я побрёл к своему «углу». Так здесь называли полтора метра пространства между ржавыми стойками, отгороженного от зала куском пропылённой брезентовой ткани. Я отодвинул занавеску. Полотно с сухим скрипом поехало по карнизу, с которого сыпалась ржавая крошка.

Внутри пахло иначе. Резче. Здесь запах общего зала — влаги, тления и тел — смешивался с другими: едкой химией лекарств, затхлостью старого пота, и тем особенным, сладковатым запахом, который не спутаешь ни с чем. Запахом долгой, медленной болезни. Он въелся в одеяла, в подушку, в сам бетон стен. Этот запах и был моим углом.

На самодельной полке из обожжённого ящика стояли две вещи. Книга «Цветы. Естественная история» Бруно П. Кремера. Корешок рассыпался, страницы слиплись от сырости, края обгрызены. И рядом — фотография в деревянной рамке. Пожелтевшая.

На снимке — моя семья. Мы улыбаемся, шурясь от солнца. Мама держит за руку Катю, трехлетнюю. И я, десятилетний, стою рядом, с выражением лица, которое мне сейчас казалось чужим. Незнакомым. Мы — на фоне белого павильона ВДНХ. Вокруг — зелень. Над головой

— солнце. Я помнил названия: «зелень», «солнце». Но сами ощущения — тепло на коже, запах травы, яркость цвета — стёрлись. Осталась только эта плоская, выцветшая проекция.

Сейчас мне двадцать. Между тем мальчиком на фотографии и мной, стоящим в этом вонючем углу, лежала не просто пропасть лет. Лежала смерть целого мира. Тот мир с яркими красками и чистыми звуками был другой планетой. Её больше не существовало.

Катя лежала на узкой железной койке, закутанная в несколько одеял. Ткань была тонкой, вытертой до серости, и плохо держала тепло. Сырость подполья просачивалась сквозь любые слои.

Я поставил миску на тумбочку. Каша была такой же, как всегда — серая, безвкусная, с комками. Но ещё горячая. Я налил в кружку воды, поставил рядом.

— Поешь, — сказал я, опускаясь на свою койку.

Катя повернула голову на подушке. Её глаза блестели в полумраке, но взгляд был рассеянным, будто она смотрела сквозь меня, сквозь стены, сквозь этот бетон.

— Потом, — прошептала она. Губы шевельнулись едва заметно. — Сейчас не хочется. Тошнит.

Я хотел настоять. Собрать в кулак весь свой тяжелый, усталый голос, чтобы звучать убедительно. Чтобы напомнить ей, что без еды не будет сил. Но она снова повернулась на бок, спиной ко мне, и я увидел, как под одеялом ходит её плечо — ровно, часто, с тем самым хриплым выдохом, который уже стал для меня единственной музыкой этого места.

Я не стал настаивать.

В свете лампы, висящей на шнуре, её лицо казалось другим. Не родным. Кожа натянулась, стала полупрозрачной и восковой, обтягивая скулы и подбородок. Черты заострились, стали жёстче. Это было лицо незнакомки. Лишь глаза, когда она их открывала, напоминали мне ту Катю, что осталась на фотографии.

На её лбу и над губой блестел пот. Не здоровый, горячий пот, а холодная, липкая испарина.

Я сел на край койки. Пружины подо мной скрипнули жалобно и громко. Я прикоснулся тыльной стороной ладони к её лбу. Кожа горела сухим, опасным жаром.

— Опять температура? — спросил я. Голос сорвался, выдавая тот страх, который теперь жил где-то под рёбрами постоянной, тупой тяжестью.

Она пошевелилась под одеялами, попыталась приподняться. Мышцы дрожали от усилия. Вместо этого она лишь медленно, с видимым трудом, повернула ко мне голову. Веки приподнялись.

Её глаза были огромными на исхудавшем лице. Такими же карими, как у мамы. И в них, сквозь лихорадочный блеск, горело то, чего я боялся пуще огня: понимание. И упрямая, последняя искра чего-то, что не желало гаснуть.

— Пустяки, — прошептала она. Шёпот был едва слышен над шипением лампы.

Я протянул руку к тумбочке. Взял пустую блистерную упаковку от таблеток. Перевернул её. Лёгкая, как пустая скорлупа. В ячейках — ничего. Только вмятины на фольге, тёмные от частых прикосновений. Не говоря ни слова, я достал из внутреннего кармана жестяную коробочку. Открыл. В ней лежала одна таблетка «пустышка». Я вытряхнул её на ладонь. Маленькая, белая, ничтожная. Моя рука дрогнула, когда я протягивал её.

— На, — голос сорвался, стал низким и хриплым. — Выпей. Сейчас. Может... хоть немного полегчает.

Я не верил в эти слова. Но сказать больше было нечего.

Она медленно, преодолевая сопротивление собственного тела, повернула голову. Движение было мучительно медленным.

Сначала она посмотрела на таблетку у меня на ладони.

В её взгляде не было ни страха, ни упрёка. Было тихое, усталое понимание. И что-то ещё, от чего у меня внутри всё оборвалось и упало. Она смотрела на меня с жалостью. Жалела меня. Даже сейчас.

Её пальцы, горячие и лёгкие, коснулись моей ладони. Они не сразу взяли таблетку. Они на мгновение сомкнулись вокруг моих пальцев, слабо, почти без силы. Она держала мою руку. Не лекарство. Мою руку.

Потом её пальцы скользнули, взяли таблетку, и прикосновение оборвалось. Осталось только воспоминание о нём — обжигающее и горькое, как сама эта белая крупичка в её исхудавшей руке.

— Спасибо, — прошептала она и запила таблетку водой из жестяной кружки. Не за лекарство, за попытку.

Лицо её скривилось от вкуса — горько-металлического, знакомого до тошноты. Но она проглотила. Это был ритуал. Он уже ничего не лечил. Он просто отмечал время. Отмерял отрезки между одним приступом кашля и следующим.

Я кивнул. Слова застряли где-то в горле комом.

Катя слабо повернулась на бок, спиной ко мне и к тусклому свету лампы. Ей было неловко быть на виду. Неловко, что я вижу её слабость.

И, может быть, неловко за моё лицо, на котором она читала всё, что я пытался скрыть.

В паузе между вдохом и выдохом я ловил себя на том, что задерживаю дыхание вместе с ней, жду следующего вдоха. Каждый раз, когда он раздавался, в груди что-то слабо сжималось.

Я смотрел на её спину. Тонкая хлопковая майка обрисовывала каждый позвонок. Они выпирали под тканью чёткими, острыми буграми. Рёбра проступали так явно, что казалось — кожа вот-вот порвётся.

И вдруг, поверх этого страшного рельефа, наложилось другое воспоминание. Не год назад, больше. Она сидела на этом же краешку кровати, запрокинув голову и смеясь. Я, борючись что-то из школьных уроков, которую сам с трудом понимал, пытался заплести её светлые волосы в косу. Получалось криво, волосы путались. Она смеялась. Звонко, без этого хрипа в горле. Звук того смеха теперь казался призрачным, нереальным, будто его никогда и не было.

Она таяла на глазах. С каждым днём черты лица становились резче, прозрачней, словно её рисовали на тонкой, постепенно испаряющейся плёнке.

Я потянулся к шнуру и щёлкнул выключателем.

Свет погас. Тьма накрыла наш угол сразу, густо, как тяжёлое одеяло. В ней мгновенно растворились очертания тумбочки, полки, складки одеял на её койке. Исчезла та страшная чёткость её костей под майкой. Осталась только темнота — плотная, почти осязаемая.

Это было единственное укрытие. От её лица. От моих мыслей. От этой комнаты.

Лишь одна узкая полоска тусклого жёлтого света пробивалась из коридора через щель между занавеской и косяком. Она лежала на стене, дрожала от чьих-то шагов снаружи. Безмолвная, бесполезная полоса. Её было достаточно, чтобы видеть контур койки и тень моей собственной руки, лежащей на одеяле. Больше ничего. И в этом была странная, обманчивая безопасность.

Я снял куртку, пропахшую металлической пылью и потом. Повесил на спинку стула — там уже висела её кофта. Потом опустился на свою койку и уткнулся лицом в подушку. Наволочка была холодной и пахла старой тканью, но через несколько секунд от дыхания в ней появилось маленькое тёплое пятно.

Лежал неподвижно, стараясь дышать тише. И слушал как доносилось её дыхание. Сознание цеплялось за этот звук, как за единственную нить в темноте. Пока он есть — она здесь.

Но зачем?

Мысль возникла сама собой, круглая и пустая, как пробойна в трубе. Зачем чинить эти трубы, если через них всё равно течёт ржавая жижа? Зачем получать талоны, чтобы есть без-

вкусную кашу, которая лишь отсрочивает тот день, когда станет нечего есть? Зачем слушать этот хриплый звук зная, что с каждым днём он становится тише?

Раньше ответ был. Катя. Нужно было добыть её таблетку, её паёк. Но сейчас — это выживание ради выживания. Пока либо трубы не лопнут окончательно, либо не перестанет дышать она. А потом, наверное, наступит моя очередь.

Я перевернулся на бок, лицом к стене. Бетон был шершавым и холодным даже через сантиметр воздуха.

Где-то на том свету, если он есть, наша мама. Она умерла в первые дни. Нам с Катей «повезло» спуститься сюда. Получить этот шанс. Прожить эти четыре года в полутьме, наблюдая, как мир не просто умирает, а медленно, по частям, разлагается заживо.

Я зажмурился, пытаюсь представить не то, что было (эти картинки блекли), а просто тишину. Полную, абсолютную. Без гула станции. Без хрипа в груди. Без скрипа моих суставов. Но даже воображаемая тишина была пугающей. В ней не было места даже для этой бесполезной боли. В ней не было места вообще ни для чего. Я снова перевернулся на спину.

Дыхание сбилось, участилось на несколько секунд, потом вернулось к своему неровному ритму. Я замер, слушая. Ждал, когда оно успокоится. Вот оно и есть, подумал я. Весь смысл. Не в будущем, которого нет. Не в прошлом, которое умерло. А в этом звуке. В отслеживании пауз между вдохом и выдохом. В этой тихой, отчаянной вахте в темноте. Пока я его слышу — я не совсем один. И завтра снова встану в семь, надену вонючую куртку и пойду чинить трубы. Не ради будущего. Ради того, чтобы завтра вечером снова лежать здесь и слушать. И отсчитывать эти хриплые, драгоценные секунды тишины между её вдохами.

Я подтянул колени к груди, съёжившись в комок.

Перестань страдать, — думал я, глядя в темноту в её сторону. Хотя бы на время. Дай и мне передышку оттого, что я вижу твои страдания.

Сколько прошло — минута или час? Я уже начал проваливаться в тягучую дремоту, когда её голос разрезал тишину. Слова были простыми, выточенными из той же темноты:

— Марк... Что ты будешь делать, когда я умру?

Я замер. Потом медленно перевернулся на бок. Пружины скрипнули — тихо, но в этой тишине звук показался оглушительным.

Эти слова висели в воздухе, между нами, уже несколько недель. Я видел их в её взгляде, когда она думала, что я не смотрю. Слышал в долгих паузах между её вопросами о воде, о свете. Теперь они были высказаны вслух. Обрели форму и вес. От них в груди стало пусто и холодно, как будто кто-то вынул все внутренности и оставил лишь ледяной сквозняк.

На этот вопрос не было ответа. Никакого. Но проигнорировать его теперь было нельзя. Он лежал, между нами, как ещё один невидимый житель нашего угла.

Тишина повисла, между нами, густая и тяжёлая. Её нарушало только одно — её дыхание. Короткие, свистящие вдохи. Звук, похожий на трение старых листов пергамента. Каждый такой звук отмечал в тишине ещё одну маленькую потерю. Ещё один шаг.

Потом, почти шёпотом, из темноты донеслось:

— ...Я хочу, чтобы ты нашёл цветок. Настоящий.

Слова были простыми. Детскими — но чего ещё ждать от тринадцатилетнего ребёнка? В них не было просьбы о лекарстве, которого нет. О тепле, которого не добыть. Не было даже просьбы не болеть. Она просила о цветке. Об одном. О чём-то хрупком, цветном, живом. О чём-то, что не пахнет сыростью, ржавчиной и болезнью. О кусочке того мира, который она не помнила, и видела только на потёртых страницах моей книги и на выцветшей фотографии. Мира, которого, возможно, уже не существовало нигде, кроме как в этих самых книгах и фотографиях.

Я молчал.

Её пальцы нащупали в темноте мою руку. Прикосновение было лёгким. И горячим.

Я хотел что-то сказать. Собрать в кулак все свои «не уходи», «держись», «пустяки». Но слова застряли, превратились в комок в горле. Любое слово сейчас было бы ложью. Любое прикосновение — подтверждением конца.

Мы лежали молча. Холод просачивался сквозь кожу, добирался до костей, заполнял пустоты, о которых я раньше не знал. И сквозь эту ледяную муть во мне проступило понимание: она прощает мне не то, что я кричал, не то, что злился на мир. Она прощает мне это. Моё молчание сейчас. Мою проклятую немоту. Мою голую, абсолютную невозможность сделать хоть что-то, кроме как лежать здесь и принимать её уходящее тепло, делая его частью себя.

Она не просила надежды. Она оставляла мне долг. Единственную работу, у которой не было смены и не будет талона. Работу на всю оставшуюся жизнь.

Её пальцы всё так же лежали в моей руке — хрупкие, беззащитные, доверчивые. И этот миг, висящий на волоске между сном и вечным покоем, между надеждой и отчаянием, стал самым страшным испытанием в моей жизни. Потому что как можно уберечь от ночи того, кто сам становится её частью?

Молча, с болезненной осторожностью уложив её руку на одеяло, я перевернулся на другой бок, прижавшись лбом к шершавой, ледяной поверхности стены. Бетон оказался холоднее её ладони. Твёрже моей воли. Влага конденсата стекала по стене тонкими, извилистыми дорожками, оставляя на моей коже ощущение ледяных, безмолвных слёз.

Я ждал, что она скажет что-то ещё. Хоть слово. Любой звук. Но из темноты доносилось только это тихое посвистывание — как будто где-то вдалеке, в другом конце бесконечного туннеля, медленно спускали воздух. Звук становился всё тоньше, разреженнее. А потом исчез. Не оборвался, а именно исчез, растворился в гуле вентиляторов. Тишина не наступила — её не бывает в подземелье. Просто один знакомый звук навсегда покинул свой пост в хоре этого места.

Её дыхание остановилось.

Шелестящий звук, к которому я прислушивался каждую ночь, растворился.

Я не стал проверять пульс. Не стал звать. Просто лежал, прижавшись к стене, и смотрел в темноту, чувствуя, как холод бетона медленно просачивается через кожу. Вместе с ним просачивалось понимание. Обещание было дано. Долг — взят. Теперь в этом каменном кишечнике, кроме ржавых труб и цветных талонов, у меня появилась ещё одна работа. Невозможная. Бессмысленная.

Где-то наверху, сквозь метровые плиты и спрессованный столетиями грунт, доносился вой. Приглушённый, протяжный звук, будто раскачивается огромный чугунный колокол. И был он не по потерянному зеленому лугам и не по небу. Он был просто так. Потому что это всё, что осталось.

Глава 2

Я не спал. Просто лежал, глядя в стену.

Сколько прошло? Час. Пять. Я перестал считать. Лежал на боку, чувствуя, как затекает шея, немеет левая рука, прижатая телом, — и не менял позы. Ведь каждое движение означало бы, что я признаю новую реальность. А я не был готов принять.

В углу рта скопилась слюна. Горькая, с привкусом той самой ржавчины, которой здесь пропитано всё. Я сглотнул. Горло болело, будто я всю ночь кричал. Но я не кричал. Я вообще не издал ни звука.

Несколько часов назад я сидел и смотрел на неё койку. Долго. Потом встал, отодвинул занавеску и пошёл по коридору. Первый, кого встретил, — мужик из пятидесяти третьего, фамилии не знаю, просто знакомый из столовой. Я сказал: «Помогите унести.». Он кивнул и пошёл за вторым. Они вернулись вместе, зашли, подняли койку — она была лёгкая, страшно лёгкая, почти ничего не весила — и унесли.

Я втянул носом воздух.

Запах в углу уже менялся. Знакомый, въевшийся в одеяла и подушку — запах болезни, пота, той особой гнили, что идёт изнутри ещё держался. Но к нему примешивалось что-то новое. То, от чего внутри всё сжималось сильнее. Запах был не сильным. Тонкий, чуть сладковатый — как прокисшее молоко, если его оставить надолго. Потом понял: это она. Не сама она, запах тела, которого уже нет. Остывшее тело пахнет иначе, чем живое. В этом запахе нет жизни, только химия. Формалин, ацетон, что-то ещё, для чего у меня нет названия. Но главное — железо. От нее пахло железом, только теплым. Странно: она остыла, а запах был теплым.

Через какое-то время я понял, что ждать больше нечего, и сел. Медленно, чувствуя, как хрустят позвонки — сухой, отчётливый звук в тишине. Я поднялся и оделся. Сначала свитер — шерсть кололась, прохудившийся локоть привычно зиял дырой. Потом куртка, пропахшая потом и металлом. Сумка с инструментами лежала там же, у входа, оттопырен карман, куда я всегда совал пассатижи. Всё на своих местах. Только мир перекосялся на один градус. И этот градус был всем.

Ноги держали плохо — от долгого лежания на жёстком. Я сделал шаг к её койке. Пол был ледяным даже сквозь толстые шерстяные носки, которые я не снимал уже неделю. Остановился. Посмотрел на одеяло. На то место, где должна быть её голова. На подушке остались несколько клочков её волос. А её самой нет.

Рука сама потянулась поправить одеяло. Зачем — не знаю. Просто руки сделали то, что делали каждое утро: подоткнуть край, чтобы не дуло, разгладить складку. Пальцы коснулись шершавой ткани. Одеяло было холодным. Я отдернул руку. Заметил тарелку уже остывшей каши, которую она обещала съесть. Постоял ещё секунду. Потом задвинул занавеску. Брезент с сухим скрипом поехал по карнизу, с которого сыпалась ржавая крошка.

В коридоре горел свет. Тусклый, жёлтый, от которого болели глаза. Лампы мигали — одна через три. Гул станции никуда не делся — низкий, пульсирующий, он пронизывал всё: стены, пол, мои кости. Где-то далеко лязгнула железная дверь. Кто-то прошёл мимо, не глядя на меня. Я прислушался к себе. В груди, там, где раньше было что-то тёплое, когда я думал о Кате, теперь зияла пустота. Не боль. Не горе. Просто дыра, в которую уходили все звуки, все мысли, всё тепло.

Мне дали выходной день. Всего один. «В связи с утратой». Это звучало как цитата из какого-то регламента. Мне разрешили не ходить на работу. Как будто мое горе можно было измерить и упаковать в эти двадцать четыре часа. Как будто после них всё встанет на свои места.

Я не пошёл в столовую. Не пошёл в тоннель. Просто бродил по коридорам, прислонялся спиной к холодным стенам и смотрел, как мимо течёт чужая жизнь. Люди шли сменами, тащили ящики с железками, несли воду в оцинкованных вёдрах. Никто не смотрел на меня. Или смотрели — но отводили глаза за секунду до того, как наши взгляды могли встретиться.

Моё тело, привыкшее к физической усталости, теперь ныло от другого — от неподвижности, от непривычной свободы этого «дня в связи с утратой». Ломило поясницу, плечи, шею — всё сразу. Некуда теперь нести её таблетку. Не для кого больше откладывать талон. Вся сложная, отточенная годами механика моего выживания — ради неё — остановилась. Остался только простой, чудовищный вопрос: ради чего?

Цветок, — пронеслось у меня в голове.

Это слово было чуждым здесь, среди бетона и ржавчины. Я с трудом вспоминал, как они выглядят. Пытался вызвать в голове картинку — и не мог. Только пятно. Только смутное знание, что когда-то что-то было. Цветное. Живое. А теперь осталась только сухая абстракция: «одуванчик», «ромашка», «василёк». Слова без веса, без запаха, без права на существование в этом мире. В мире, где само представление о цветке казалось абсурдным, почти безумным.

Где в этом бесконечном царстве камня, ржавого металла и пепла мог сохраниться хоть один хрупкий лепесток? Где найти то, что требует для жизни солнца, чистой воды и свежего воздуха — всего того, чего нет уже много лет?

* * *

Прошло несколько дней.

Я стоял у люка, через которого мне предстоит выйти на поверхность.

Тьма. Не просто отсутствие света — плотная, почти осязаемая масса. Она стояла в проёме вентиляционной шахты густым, непроглядным пологом.

И воздух был другим.

Не спёртым машинным маслом и потом, как в бункере, а холодным, сырым, чужим. В нём чувствовался привкус древности — не гнилой, словно он сочился не из шахты, а из пещеры, которую не тревожили веками. Этот сквозняк пугал не меньше тьмы. Откуда он? Неужели это дыхание того мира, куда я собрался? Или просто искусственный поток, гоняемый древними механизмами, которые ещё ворочаются где-то в бетонных внутренностях?

Я сунул руку во внутренний карман, достал схему. Развернул. Бумага шелестела, края истёрлись, сгибы побелели — Валентин, видно, сто раз её складывал-раскладывал, прежде чем решил отдать. Свет аварийной лампы падал на пожелтевший лист, выхватывая дрожащие карандашные линии. Коридоры, повороты, крестики завалов. В правом верхнем углу — жирная стрелка, обведённая несколько раз. «ВЫХОД». Буквы крупные, неуклюжие, давят на край листа, будто торопятся вырваться наружу.

Я провёл пальцем по одной из линий — той, что вела от нашей станции к поверхности. Простой путь. На бумаге. Два поворота, старый коллектор, вентиляционная шахта, и вот она, стрелка. Валентин говорил, что лез туда полчаса. Всего полчаса.

Я посмотрел на проём. Тьма в нём стояла плотная, живая — не отступала, не мигала, просто висела и ждала.

Снова перевёл взгляд на схему. На буквы, которые Валентин выводил, наверное, при свете керосиновой лампы, один в своей мастерской, перебирая в памяти каждый метр пути, который чуть не убил его. Зачем он её хранил? Для себя — чтобы не забыть дорогу, если придётся бежать? Или для кого-то другого — кто, как он знал, однажды придёт и попросит?

Свернул схему, сунул обратно в нагрудный карман. Бумага прижалась к груди — к тому самому месту под рёбрами, где до сих пор ныло. Глухо, тупо, без конца. Схема старая, линии стёртые, выход нарисован дрожащей рукой. Но это единственное, что у меня было. И назад её уже не засунешь.

Пробирался через узкий туннель. Тесно. Очень тесно. Плечи скребут по шершавым стенам, рюкзак цепляется за каждый выступ. Двигаюсь почти наощупь, вытянув руки вперёд.

Дышать тяжело.

И не видно ни черта.

Тьма не просто вокруг — она внутри глаз. Даже когда зажмуриваюсь до рези — никаких пятен, никаких кругов. Только чёрная пустота. В какой-то момент перестал чувствовать тело — будто его нет, будто я один мозг.

Через какое-то время стало ещё теснее. Казалось, сам бетон давит на грудь. Каждый вдох — через силу. Рёбра упираются в холодную поверхность, рюкзак вгрызается в спину. Я полз, задерживая дыхание, боялся раздуть грудную клетку — застряну намертво, и всё.

Полз долго. А потом вдруг — простор.

Стены отступили. Я смог разогнуть спину, и позвонки хрустнули так, будто я их сломал. Но стало легче.

Повернуть направо. Прямо. Лестница.

Повторял про себя, как заведённый, чтоб не забыть. Шаг вперёд. Ботинком — пусто. Ещё шаг. Стена справа. Поворачиваю. Ползу, руку вытянул. Шёл так, пока ладонь не упёрлась в твёрдое, ребристое. Металл. Лестница.

Наконец-то. Я хватился за холодные, шершавые перекладины. Полез наверх. Не тренированные руки, привыкшие к пассатигам и небольшим деталям, сразу заныли под тяжестью тела, нагруженного рюкзаком. Каждый подъём давался с усилием. Отдыхая каждые несколько шагов вверх, я делал паузу, прижимаясь лбом к холодной перекладине. В ушах стоял собственный хриплый свист, легкие горели, выжимая из скудного воздуха последние крупинцы кислорода.

Лестница все не кончалась, пока вдруг моя голова с глухим стуком не упёрлась во что-то твёрдое и неподвижное. Я замер, на мгновение оглушённый. Сердце бешено заколотилось, пророча новую преграду. Подняв дрожащую от усталости руку, я начал водить ладонью по холодной, шершавой поверхности над головой. И тут пальцы наткнулись на металлический рычаг, покрытый грубой, отслаивающейся краской.

Люк.

С трудом провернув рычаг, я упёрся плечом в холодный металл и толкнул. Сначала не поддавалось, словно намертво прикипело, потом с протяжным, скрежещущим звуком сдвинулось.

И тогда меня ослепило.

Свет. Белый, обжигающий. Боль, острая и мгновенная, пронзила глаза. Я отшатнулся, чуть не сорвавшись с лестницы, и прижал ладонь к глазам пытаюсь хоть как-то укрыться. Но свет был везде. Он прожигал веки, заливал сознание белой пеленой. Аккуратно, наощупь, я вылез наверх, чувствуя, как под коленями сменяется холодный металл на что-то твёрдое и сыпучее. Свет прожигал сомкнутые веки, заставляя их непроизвольно дёргаться. Я припал к земле, прикрыв голову руками в тщетной попытке спрятаться.

Почему? Почему так ярко? Это не было похоже ни на одно из моих воспоминаний о солнце. Та светило, согревало, отбрасывало тени. Это — слепило, выжигало, было безжалостным и стерильным. Оно не несло тепла, лишь всепоглощающую белизну, в которой тонуло всё: форма, расстояние, само пространство.

И тогда, сквозь этот ослепляющий ужас, меня пронзило новое ощущение — невыносимый холод. Он обрушился не снаружи, а будто изнутри, выворачивая наизнанку. Зубы сами собой застучали, тело затряслось в мелкой, неконтролируемой дрожи. Холод, который обжигал сильнее огня, сковывая лёгкие и заставляя каждый мускул сжиматься в ледяном комке. Я съёжился на земле, ослепший и парализованный, под атакой двух стихий — всепоглощающего света и всепроникающего холода.

Пошарив в карманах, я наткнулся пальцами на два круглых предмета, связанных потрескавшейся, износившейся резинкой. Очки.

С трудом, преодолевая боль, я приоткрыл один глаз, залитый слезами, и поднёс к нему одно зеленое стекло. Мир озарился ярким светом, ядовитым и неестественным, но хотя бы не слепящим. Резь в глазу тут же утихла, сменившись непривычным, но терпимым напряжением.

Я нацепил очки, которые Валентин сделал специально, чтобы носить на поверхности, закрепив резинку на затылке. И наконец, смог открыть глаза.

Поле. Бесконечное, безжизненное, сухое. Земля потрескалась, образуя причудливые узоры, будто кожура чего-то древнего. Ни травинки, ни намёка на растительность. Лишь лед да пепел, поднимаемая редкими порывами ледяного ветра.

Вдали, словно мираж, темнели несколько высохших скелетов деревьев. Их кривые, обломанные ветви тянулись к небу. И ещё дальше — развалившиеся строения. Остовы домов с пустыми глазницами окон, неестественно покосившиеся, почти сливающиеся с цветом мёртвой земли. Улицы города, заваленные обломками, постепенно теряли очертания, словно их затягивало серой вуалью.

Весь город будто замер в ожидании, затаившись перед тем, как окончательно обустроиться во тьму.

Брусчатка уходила из-под ног, проваливаясь в полузамерзшую кашу, где грязь смерзлась с осколками стекла. Разрушенные дома стояли по обеим сторонам улицы, их стены, покрытые белым снегом, прорезали глубокие трещины.

Ноги горели от усталости, но тут же коченели от холода, спина ныла от напряжения. Взгляд выискивал малейшее движение в черных окнах. Тишину нарушало только хлюпанье грязи под сапогами и дальний скрежет металла.

И в этот момент я замер.

Что-то изменилось. Я не понял, что — просто тело перестало слушаться. Мурашки пробежали по спине, волосы на затылке встали дыбом.

Кто-то смотрел на меня.

Я не видел никого. Вокруг была только серая пелена за стеклами линз. Но взгляд чувствовался. Тяжелый, липкий. Он давил на спину, на шею, на плечи. Я перестал дышать. Даже моргнуть не мог.

Тишина вокруг сгустилась. Раньше она была просто тишиной. Теперь она стала плотной, как стена. В ней не было ни звуков, ни ветра. Только я и этот взгляд.

Он двигался.

Кто-то обходил меня слева. Медленно. Не приближаясь, но и не уходя.

Я смотрел только вперед — знал: если увижу движение в окнах, сорвусь и побегу.

И вдруг — грохот. Что-то огромное рухнуло в трех шагах за спиной. Я окаменел, не смея пошевелиться.

Я стоял, вжавшись спиной в невидимую стену, и слушал, как этот кто-то (или что-то) замерло в двух шагах слева. Я чувствовал его присутствие всем телом — холод стал другим, не пронизывающим, а давящим, как будто рядом со мной опустилась глыба льда, излучая не мороз, а саму смерть.

Затем — протяжный, мучительный скрип. Шорох. Мерзкий, прилипчивый, будто полузамерзшая туша волочила свои обмороженные конечности по промерзшему камню. Он был совсем близко. Справа. Или слева? Эхо искажалось в пустоте. Я зажмурился, пытаюсь дышать тише, но сердцебиение оглушало, отдаваясь в висках.

Неважно. Нужно идти. Шаг за шагом, не оборачиваясь, не думая о ледяном чувстве, поднимающем волосы дыбом. Ведь вокруг никого. Только ветер, воющий в пустых глазницах окон.

Запрокинув голову, я обвёл безжизненные оконные фасады, чёрные дыры. Ни звука, ни движения — лишь ледяное безмолвие.

Вдруг мою ногу схватила чья-то рука. Костлявая, мерзкая. Она сжимала мою ногу так слабо, что я еле почувствовал это через сапог.

Я посмотрел вниз.

Из-под груды обломков выползло худошавое существо, напоминающее человека. Его кожа, синюшная и полупрозрачная, обтягивала каждый позвонок, каждое ребро. Оно тянулось ко мне, и его пальцы, длинные и костлявые, снова попытались ухватиться за мою ногу.

А за ним выступали другие. Десятки силуэтов. Такие же худошавые. Они уже шли на двух ногах, но походка их была ужасна — они спотыкались на каждом шагу, их тела качались и дёргались, словно марионетки на невидимых нитях. Они двигались молча, беззвучно, и лишь хруст снега под их босыми ногами нарушал гробовую тишину.

Я влетел в ближайший подъезд, дверь с визгом скрипела и выла на разболтанных петлях, яростно сопротивляясь, словно не желая впускать никого, даже такого, как я. Я ударил в неё плечом, отчаянно, с хрипом, и с третьей попытки она с проклятием поддалась, впуская меня в промозглые, пропахшие плесенью и смертью объятия.

На четвертом этаже я остановился, быстро втягивая носом воздух — густой, спертый, пропитанный смесью пыли вековых веков, трухлявой древесиной. Я втащил в прихожую массивный шкаф, завалив его у входа. Оглушительный грохот разорвал тишину, эхом прокатившись по пустым комнатам.

В промозглой тишине квартиры, прижавшись спиной к облупленной стене, я попытался отдышаться.

Что это было.

Мозг отказывался обрабатывать увиденное, выдавая лишь обрывки. Синеватая кожа, натянутая на каркас костей. Глаза — не стеклянные, как у мертвеца, а... пустые. Без мысли, без сознания, просто тёмные впадины, вбирающие в себя свет. И эта походка... не ходьба, а падение вперед, с рывком, будто телами управляла какая-то сломанная, неведомая механика.

Это не были «заражённые» из довоенных страшилок. Не были они похожи на голодных выживших. В них не было ничего живого. Ни злобы, ни отчаяния, ни даже животного инстинкта. Только одно — безжизненное, неумолимое движение. Как будто сама смерть, не сумев до конца поглотить этот мир, подняла его обитателей и заставила их бесцельно брести по его руинам.

И самое страшное — их тишина. Ни рыка, ни стопа. Лишь скрип обмороженной плоти и костей о лёд.

Силуэты.

Слово пришло само, холодное и точное. Они и были именно силуэтами — пустыми оболочками, тенями, на которые кто-то или что-то набросило подобие человеческой формы. В них не было сути, ничего, что делает человека живым.

Кресло скрипнуло под моей тяжестью. Я замер, вжавшись в пыльную обивку, втянув голову в плечи, стараясь слиться с липкой, густой тишиной, что висела в воздухе, и прислушиваясь к каждому шороху, к каждому скрипу.

Снаружи лишь ветер. А под полом, в крошечной тьме, доски тихо скрипели и стонали, не выдерживая тяжести невидимого, но осязаемого присутствия, что медленно и неумолимо наполняло собой дом.

Я слушал.

Сначала снизу доносилось то самое шарканье — мокрое, костяное, неритмичное. Оно приходило волнами: то затихало, то возвращалось, будто кто-то мерил шагами подъезд, не в силах ни уйти, ни остановиться. Потом стало тише. Потом пропало совсем.

Очки давили на лицо. Резина врезалась в скулы.

Я подошел к окну.

Стекло покрылось таким толстым слоем инея, что сквозь него почти ничего не было видно.

Улица внизу была пуста.

Я вглядывался в разбитый асфальт, в покосившиеся фонарные столбы, в чёрные провалы подъездов напротив, и не мог поверить. Ещё час назад они были там. Я слышал их. Теперь — никого. Только ветер гонял по дороге колючий снег, похожий на песок.

Я выдохнул, и облако пара застыло перед стеклом, на секунду скрыв улицу.

Цветок.

Мысль пришла неожиданно, вынырнув из той глубины, куда я её загнал, чтобы не мешала.

Я посмотрел на свои руки сейчас. Они были синими у ногтей, пальцы не сгибались до конца, кожа потрескалась на костяшках. Я сжал их в кулак, разжал. Пальцы слушались плохо, но слушались. Значит, ещё не всё.

В городе цветов не было. Я понял это ещё на холме, когда увидел мёртвые деревья, чёрные остовы домов, серый снег. Город был мёртв. Я знаю, что есть лес. Западнее города, километрах в пяти, если верить старым картам. Я видел эти карты — на них он был зелёным пятном, ровным и плотным, как мох. Что там сейчас — я не знал. Но другого направления у меня не было.

Очки я сунул в карман — на улице темнело, и я надеялся, что глаза, привыкшие к мраку, будут лучше видеть.

Я подошёл к двери.

Шкаф, которым я подпёр вход, стоял на месте. Я упёрся в него плечом, сдвинул. Дерево противно скрипнуло, посыпалась труха. Я отодвинул его настолько, чтобы протиснуться в щель, и замер, прислушиваясь.

Ничего

Я быстро, стараясь не топать, спустился на первый этаж. В подъезде было темно — окна забиты досками, свет пробивался только сквозь щели. Я остановился у выхода, вглядываясь в мутную полосу улицы.

Никого.

Я шёл быстро, стараясь не оглядываться. Дома тянулись по обе стороны, безликие, одинаковые. На некоторых ещё держались вывески — я разобрал обрывки слов: «АПТЕ...», «ПРОДУ...», «...ЛБЕРТО». Буквы облупились, краска слезла, и казалось, что названия стираются вместе с миром, который они когда-то обозначали.

Я миновал перекрёсток, потом ещё один. Улица пошла под уклон, и внизу, в конце спуска, я увидел деревья. Сначала я подумал, что это дома — такие же тёмные, покосившиеся. Но чем ближе я подходил, тем яснее проступали очертания: стволы, голые, чёрные, с редкими обломанными ветвями.

Лес.

Я остановился на краю. Дорога, по которой я шёл, упиралась в эту стену, как в тупик. Асфальт кончился, сменившись чёрной, промёрзшей землёй, из которой торчали корни.

Я искал цветок.

Сначала я вглядывался в каждую кочку, в каждый бугорок, надеясь увидеть что-то, кроме серого и чёрного. Но лес был мёртв. Деревья стояли голые, и даже лишайник, который внизу, в бункере, рос на стенах, здесь отсутствовал. Всё было чистым, мёртвым. Я шёл долго. Может, час. Может, два. Я перестал чувствовать ноги ещё в городе, а теперь перестал чувствовать и руки. Я пытался сжать их в кулаки, но пальцы не слушались, и палка, которую я подобрал на опушке, всё время норовила выскользнуть.

Лес постепенно менялся. Деревья стали реже, между ними появились прогалы, затянутые серым, колючим кустарником. Земля стала мягче, и сапоги начали вязнуть глубже. Я остановился, чтобы перевести дыхание, и тогда заметил, что снег под ногами не белый. Он был серым, как пепел, а в тех местах, где я проваливался, из-под него выступала чёрная, маслянистая жижа.

Болото.

Я сделал шаг назад, но нога ушла глубже, и я почувствовал, как что-то холодное и липкое смыкается вокруг щиколотки. Я выдернул ногу с чавкающим звуком и отступил к дереву. Прислонился спиной к стволу, пытаюсь отдышаться. Передо мной расстилалось поле. Не лес, не луг — поле, покрытое серым снегом, из которого там и сям торчали редкие, голые кусты. А дальше, насколько хватало глаз, — такая же серая, плоская пустота.

Я дошел до края, когда ноги отказали окончательно.

Не то чтобы они несли меня до этого — последний час я просто переставлял их, как маятники, не чувствуя ни земли, ни холода, ни даже боли. Они двигались сами, по инерции, по привычке, по тому тупому упрямству, которое заставляло меня вставать в семь, надевать вонючую куртку и идти чинить трубы, которые всё равно текут. А теперь и это кончилось.

Я остановился. Просто замер посреди серого, бесконечного поля, где снег перемешался с пеплом, а небо слилось с землей настолько, что я перестал понимать, где верх, а где низ.

И тогда меня накрыло.

Она пришла не извне — изнутри, из того места, где еще недавно жила Катя, где жило обещание, где теплилась та последняя искра, ради которой я вылез из люка. Теперь там было ничего. И это «ничего» расплзалось по телу, как лед по замерзающей реке, заполняя собой всё: грудь, живот, руки, ноги, голову.

Какая глупость. Какая детская, беспомощная, бессмысленная глупость. Я шел через мёртвый город, через мёртвый лес, через мёртвое поле, чтобы найти то, чего не может существовать в мёртвом мире. Катя просила о цветке, потому что не знала. Потому что помнила только картинки из книг, выцветшие фотографии, мои рассказы о том, каким был мир раньше. Она не знала, что там, наверху, всё умерло. Что даже деревья превратились в скелеты, даже снег стал серым, как зола, даже воздух режет легкие, потому что в нем нет ничего живого.

А я знал. Я знал и всё равно пошел.

Я посмотрел назад. В серой дымке угадывались очертания леса — черная полоса на горизонте, неровная, рваная, как край обожженной бумаги. За ним — город. А за городом — люк, лестница, тоннели, мой угол, пустая койка, фотография на полке. Туда. Я могу вернуться туда. Снять промокший куртку, сбросить сапоги, лечь на свою койку и закрыть глаза. И больше никогда никуда не идти. Только тишина и темнота. И запах, который уже не будет меняться, потому что Кати там больше нет, а значит, некому болеть, некому пахнуть лекарствами и той сладковатой гнилью, что идет изнутри.

Я сделал шаг назад. Потом еще один.

В бункере меня никто не ждал. Валентин, может быть, спросит, как сходил, и кивнет, когда я скажу «никак». Светлана Петровна выдаст талоны, женщина в столовой нальет каши, и я буду сидеть за длинным столом, жевать серую массу, смотреть на часы над раздаточным окном и ждать. Чего? Следующей смены? Следующего прорыва? Следующего дня, который ничем не отличается от предыдущего, потому что все они одинаковые, серые, безвкусные, как эта каша?

Я смотрел на черную полосу леса и не мог заставить себя сделать еще один шаг. Туда. Назад. В эту бесконечную, бессмысленную петлю, где я чинил то, что всё равно сломается, ел то, что не насыщает, и ждал того, что не наступит. Ради чего? Ради того, чтобы протянуть еще день? Еще неделю? Еще год, в конце которого меня найдут в углу с перерезанным горлом?

Я сделал шаг вперед. Не назад — вперед, в поле, которое тянулось до горизонта, серое, плоское, пустое. Не потому, что я верил в цветок. Не потому, что надеялся. А потому, что идти вперед было единственным движением, которое еще отличало меня от тех, кто бродил по руинам. Если я поверну назад, я стану одним из них. Не сразу. Сначала — смена, каша, талоны, пустая койка. А потом — день, когда я перестану вставать. И тогда разница сотрется окончательно.

Я шел, и снег под ногами хрустел. Шел, не глядя под ноги, глядя прямо перед собой — в серую пустоту, которая не обещала ничего. Ни цветка, ни надежды, ни даже достойной смерти. Просто пустоту.

И тогда земля ушла из-под ног.

Я не заметил, как это произошло. Ни трещины под сапогом, ни осыпающегося края, ни предупреждающего скрипа. Просто в один момент под правой ногой была твердая, мерзлая земля, а в следующий — пустота. Я провалился вниз, не успев даже вскрикнуть.

Падение было долгим. Слишком долгим для оврага. В ушах свистел ветер, перед глазами мелькали серые, размытые пятна — стены, лед, корни. Я попытался за что-то ухватиться, но руки не слушались, пальцы не сгибались, и я просто летел, кувыркаясь в этой ледяной трубе, ударяясь плечами, спиной, головой о мерзлые стены.

Удар о воду был глухим, как об стену.

Холод обрушился на меня не постепенно — мгновенно, со всей силой, на которую был способен этот мир. Он ворвался под одежду, в сапоги, выжигая кожу, сковывая мышцы, перехватывая дыхание. Я погрузился с головой.

Вода была во рту, в носу, в горле, она заполняла легкие, и я бил по ней руками, ногами, всем телом, пытаюсь вынырнуть, но не понимал, где верх, а где низ. Я тонул. Я тонул в этой черной, ледяной жиже, и где-то наверху, сквозь толщу воды, пробивался мутный, серый свет — такой далекий, такой недостижимый, будто я смотрел на него со дна колодца.

Из последних сил, из того отчаяния, которое не знает разума, которое не спрашивает «зачем», а просто выживает, потому что не умеет иначе. Я греб, молотил руками, лягался ногами, и вода вокруг меня хлупала, чавкала, не отпускала, но постепенно, сантиметр за сантиметром, я поднимался.

Моя голова пробила поверхность.

Ледяная жижа, густая и маслянистая, сомкнулась над головой с глухим, чавкающим звуком. Я вынырнул, захлёбываясь. Мир плыл перед глазами, размытый грязной водой и слепой паникой.

Я замер. В ушах звенела неестественная, гулкая тишина. Даже вода, кажется, перестала плескаться.

Тишину разорвал звук, от которого кровь застыла в жилах — мокрые, шлёпающие шаги. Не два, не четыре — а множество, будто десяток костлявых, длинных пальцев шаркали по обледеневшей грязи на берегу. Звук, который не мог существовать, но который невозможно было отрицать.

Я поднял голову, и каждый волосок на моём теле встал дыбом.

Из чащи, с треском раздвигая покрытые толстым слоем инея ветки, выползло... нечто огромное. В полумраке было трудно разглядеть очертания, но я видел, как его левая нога волочилась за ним, будто обглоданная до лоснящейся кости, протасченная сквозь стаю голодных зверей. И с каждым его шагом массивная грудная клетка шла ходуном, издавая отвратительные хлюпающие, булькающие звуки — словно внутри плескалась не кровь, а гнилая болотная жижа.

Я дёрнулся в сторону, пытаюсь вырваться, но ноги мгновенно увязли в жиже по самые колени. Казалось, сама трясина протянула из глубины липкие, невидимые щупальца, намертво схватив меня.

Из воды, с леденящей скоростью, вынырнули длинные, костлявые пальцы с когтями — чёрными, кривыми, покрытыми чем-то, напоминающим ржавчину и запёкшуюся кровь. Они впились мне в икру, пронзая плоть и мышцы с такой силой, будто это были раскалённые металлические спицы.

Я закричал и рванулся изо всех сил, чувствуя, как кожа рвётся, а мясо разлезается по упругим волокнам. Чудом мне удалось отпрянуть назад, когда челюсти — жёлтые, полуистлевшие — с оглушительным щелчком сомкнулись в сантиметре от моего лица.

Из этой пасти вырвалось облако смрада — густого, тяжёлого, пахнущего гниющим мясом и разложением. В воздухе между нами повисли нити вязкой, тягучей слюны, растягиваясь, как гнилая паутина. И в этих нитях что-то копошилось — микроскопическое, слепое, живое.

В отчаянии, почти не осознавая своих действий, я вогнал большой палец прямо в его глазницу. Палец провалился во что-то тёплое, липкое и податливое. Чудовище взревело — не от боли, а от ярости, — но от этого лишь сильнее впилося в меня. Мы свалились обратно в воду, и ледяная, бурая жижа хлынула мне в нос, в рот, пытаясь затопить последний проблеск сознания.

В бешеной, слепой схватке, барахтаясь на дне, я нащупал онемевшей рукой камень — гладкий, обкатанный водой, и тяжёлый. Я с силой, на которую, казалось, уже не был способен, всадил его в челюсть твари. Раздался глухой, костяной стук. Второй удар, ещё яростнее, пришёлся в висок. Из раны хлынула тёмная, почти чёрная кровь, но Существо лишь замотало головой, как собака, пытающаяся стряхнуть воду, и его хватка не ослабла.

Мы замерли на мгновение, измеряя друг друга взглядами. Я, тяжело дыша, с окровавленным камнем в занемевшей руке, весь избитый и продрогший. Оно — с перекошенной, неестественно вывернутой челюстью, но всё так же жадно, с невыносимым голодом смотрящее на меня своими безумными глазами.

И в этот момент его взгляд вдруг скользнул куда-то за мою спину, и в этих безумных глазах мелькнуло нечто новое, чужеродное... страх?

Тварь замерла. Её левый глаз бешено дёргался, а правый, словно неисправный механизм, вращался, безумно выискивая что-то в пространстве. Она начала медленно, крадучись обходить меня, её когти с противным скрежетом царапали по камням дна, оставляя белые насечки на тёмном базальте.

Я с трудом поднял камень — не просто булыжник, а осколок с рваным, острым, как стекло, краем. И её зрачки — оба — резко сузились в точку.

Между нами повисло напряжение. Густое, тяжёлое, наполненное ненавистью, голодом и этим новым, щемящим страхом.

Потом... она отступила. Не развернувшись, не убежала — попятилась, как краб, её перекошенная пасть беззвучно шевелилась, пока она не растворилась в глубоких тенях под сенью обрыва.

Я стоял по колено в ледяной воде, пока последние круги не разошлись и водная гладь не стала чёрной и неподвижной. Потом, шатаясь, не отводя взгляда от той непроглядной тьмы под обрывом, куда оно скрылось, я выбрался на берег. Ноги были ватными, тело ломило, но адреналин ещё пылал в жилах, заставляя двигаться вперёд.

Берег оказался пологим, но скользким — глина, перемешанная со снегом, не держала вес. Я карабкался, цепляясь за корни, торчащие из обрыва. Наверху меня встретил лес. Тот же самый — голые ветви, иней, тишина. Но теперь деревья стояли реже, а между ними, в просветах, угадывалась дорога. Старая, разбитая, засыпанная пеплом и снегом. Я побрел к ней, потому что идти больше было некуда.

Шаги мои поглощал толстый ковёр из снега и пепла, но откуда-то далеко, за спиной, ещё долго слышался навязчивый шорох — будто что-то большое, неспешное неотступно шло по моим следам.

Но я не оборачивался.

Оборачиваться — значило увидеть.

А видеть это снова я не мог. Ни физически, ни морально.

Дорога передо мной извивалась, как река — тонкая, хрупкая корка льда, под которой чернела гниющая грязь. Колеи, наполненные ржавой водой, хрустящим под моим весом. По обочинам замерзшие следы от сапог сохранили свои очертания, будто отпечатанные в бетоне — кто-то прошёл здесь до наступления морозов, и теперь земля хранила эти немые свидетельства, как музейный экспонат давно минувшей жизни.

Я дополз до какого-то разрушенного здания и прижался спиной к облупленной стене. Штукатурка крошилась под пальцами. Я понимал — скоро и я стану частью этого замерзшего пейзажа, очередным ледяным изваянием в этом бесконечном мире смерти.

Глава 3

Я почувствовал, как чьи-то мозолистые пальцы впиваются мне в плечо. Сознание вернулось через пелену боли, как будто я продирался через колючую проволоку. В висках стучало так, будто кто-то долбил по ржавой трубе внутри моего черепа.

— Давай, просыпайся. Давай-давай.

Голос мужской, хриплый, с запахом табака и ещё чего-то кислого — не то перегар, не то просто давно не мытый рот. Он нависал надо мной, и я чувствовал его дыхание на своём лице.

Я разлепил глаза. Сначала — мутные пятна. Потом — низкий потолок, брезентовый, провисший, с тёмными разводами от протечек. Ржавые борта. Под головой — ком тряпья, пахнущий соляркой и чем-то затхлым. Руки были перетянуты грязными бинтами, наспех намотанными. На левой, чуть выше запястья, проступило тёмное пятно — кровь сочилась сквозь ткань, ещё свежая.

Я рванулся, попытался сесть, но тело не слушалось. Мышцы ватные, суставы ноют, как после многочасовой работы в холодном тоннеле на коленях. Левая нога — та, что была ранена — вообще почти не двигалась, только стреляла болью при любой попытке напрячь мышцу.

— Тихо, тихо, — сказал голос, и я почувствовал, как рука легла мне на грудь, придерживая. — Один я тут. Дёргаться не надо, швы разойдутся.

Я разглядел лицо.

Мужчина. На вид — где-то за сорок, но возраст тут понятие условное. Кожа тёмная, обветренная, в глубоких складках, особенно вокруг глаз и рта. На левой скуле — старый шрам, белёсый, широкий, рванный по краям, будто когда-то полоснули ножом и зашивали на живую, второпях. Щетина седая, жёсткая, с проплешинами. Глаза — два куска угля, в глубине которых тлел огонёк чего-то, что ещё не стало полностью животным, но уже давно перестало быть человеческим. Шапка чёрная, вязаная, надвинута низко, почти на самые брови. Куртка серая, засаленная, с чужого плеча — рукава длинные, манжеты закатаны.

Он сидел на перевёрнутом пластиковом ящике, привалившись спиной к борту, и курил самокрутку. Дым слоился в свете фонаря, тянулся к щели в тенте и уходил наружу. Рядом с ним стояла кружка — жестяная, мятая, с отломанной ручкой.

— Где я? — спросил я. Голос вышел сиплым, горло драло, будто я наглотался пыли.

Незнакомец усмехнулся — коротко и сухо.

— В кузове моей «ведра». — Он ткнул пальцем куда-то вверх, и с потолка посыпалась ржавая труха. — Подобрал на дороге. Ты вонял, как дохлая крыса, которую даже черви есть не стали.

Я облизал губы. Сухие, потрескавшиеся, с привкусом крови и чего-то горького. Язык еле ворочался.

— Воды есть?

Он пошарил рядом, протянул фляжку — алюминиевую, мятую, с вмятиной на боку. Я взял. Руки дрожали, пальцы еле удержали. Сделал глоток. Вода была холодная, с явным железным привкусом — будто из старой трубы, — но пошла. Я сделал ещё глоток, потом ещё. Жажда была такая, что я готов был выпить всё.

— Хватит пока, — сказал он, забирая фляжку. — А то выблюешь. Ты давно не пил, судя по виду. По чуть-чуть надо.

Он убрал фляжку в сторону, вытер горлышко рукавом — машинально, привычно — и продолжил разглядывать меня. Я отвернулся, осматриваясь.

Кузов старый, ржавый. Борта высокие, в потёках. Тент брезентовый, в нескольких местах зашит грубой ниткой, в других — просто зияют дыры. В углу — пластиковая канистра, перемотанная синей изолентой. Ящик с каким-то хламом: обрывки проводов, пара болтов, моток

верёвки, старая автомобильная аптечка с выцветшим красным крестом. Свёрнутое одеяло — серое, колючее на вид. На полу — тряпки, пустые консервные банки, окурки, рассыпанная соль. Пахнет бензином, табаком, сырой шерстью и ещё чем-то кисловатым — может, старыми консервами.

— Как звать-то? — спросил он, нарушая молчание.

Я помедлил. Имя — это немного, но и немало. В бункере мы редко спрашивали имена у незнакомых. Но здесь я был в его власти, и врать смысла не было.

— Марк.

Он кивнул, будто запоминая.

— Андрей.

Он смотрел. Не в упор, а как-то вскользь, переводя взгляд с моего лица на руки, на бинты, на ногу. Я чувствовал, что он меня изучает. Оценивает вес, рост, состояние. Прикидывает что-то про себя.

— Откуда идёшь? — спросил он наконец.

— Издалека.

Он хмыкнул.

— Это я понял. Издалека — это откуда конкретно? Направление хоть скажи. Север, юг? Я тут все места знаю на сто вёрст вокруг. Нет тут никого. А ты — есть. Значит, откуда-то пришёл.

Я молчал. Он ждал. В кузове было тихо, только брезент хлопал на ветру да где-то далеко, в кабине, тикал мотор на холостых.

— Долго рассказывать, — сказал я.

— А мы никуда не торопимся. Ночь впереди длинная.

Я снова отвёл взгляд. Сказать правду — значит вывернуть себя наизнанку перед человеком, которого я знаю пять минут. Бункер — это не просто место. Это уязвимость. Это десятки людей, которые даже не знают, что я здесь. Я не мог просто так взять и выложить всё первому встречному.

Соврать? Но что? Города нет, ориентиров нет, легенды у меня нет. Скажу «из леса» — спросит, из какого. Скажу «с востока» — спросит, что там. Я не знал, что там. Я вообще не знал этот мир.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.